



НИНА ФЁДОРОВА

ЖИЗНЬ

ПЕРЕД БУРЕЙ



Нина Федорова

Жизнь. Книга 2. Перед бурей

Православное издательство "Сатись"

1964–1966

Федорова Н.

Жизнь. Книга 2. Перед бурей / Н. Федорова — Православное издательство "Сатисъ", 1964–1966

ISBN 978-5-7868-0005-1

Фёдорова Нина (Антонина Ивановна Подгорина) родилась в 1895 году в г. Лохвица Полтавской губернии. Детство её прошло в Верхнеудинске, в Забайкалье. Окончила историко-филологическое отделение Бестужевских женских курсов в Петербурге. После революции покинула Россию и уехала в Харбин. В 1923 году вышла замуж за историка и культуролога В. Рязановского. Её сыновья, Николай и Александр тоже стали историками. В 1936 году семья переехала в Тяньцзинь, в 1938 году – в США. Наибольшую известность приобрёл роман Н. Фёдоровой «Семья», вышедший в 1940 году на английском языке. В авторском переводе на русский язык роман были издан в 1952 году нью-йоркским издательством им. Чехова. Роман, посвящённый истории жизни русских эмигрантов в Тяньцзине, проблеме отцов и детей, был хорошо принят критикой русской эмиграции. В 1958 году во Франкфурте-на-Майне вышло ее продолжение – Дети». В 1964–1966 годах в Вашингтоне вышла первая часть её трилогии «Жизнь». В 1964 году в Сан-Паулу была издана книга «Театр для детей». Почти до конца жизни писала романы и преподавала в университете штата Орегон. Умерла в Окленде в 1985 году. Вашему вниманию предлагается вторая книга трилогии Нины Фёдоровой «Жизнь».

ISBN 978-5-7868-0005-1

© Федорова Н., 1964–1966

© Православное издательство
"Сатись", 1964–1966

Содержание

Глава I	7
Глава II	13
Глава III	18
Глава V	26
Глава VI	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Нина Фёдорова
Жизнь. Книга 2. Перед бурей

© Н. Федорова, текст, 1964

© Издательство «Сатись», 2018

Глава I

Минувших дней очарование...
Жуковский

Постучав и не получив ответа, горничная Глаша приоткрыла дверь и скользнула в комнату Милы.

– Барышня, родители желают вас видеть!

Её голос сорвался на последнем слове. Она, очевидно, была чем-то взволнована. Глаза её сверкали любопытством. Но Мила, занятая тем, что писала в толстой тетради, не заметила ничего, казалось, не слышала и слов Глаши. Она продолжала писать. «Декабрь, 27, 1913.

Наконец я нашла девиз для всей моей жизни:

Смерть и время царят на земле.
Ты владыками их не зови.
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце любви.

В. Соловьёв»

Низко наклонившись над своею тетрадью, она перечитывала эти строки, всё глубже вникая в их печально-торжественный, но вместе с тем вдохновляющий смысл. Поставив точку после последнего слова, она глубоко вздохнула. – Барышня, родители желают вас видеть, – повторила Глаша, стараясь поймать взгляд Милы.

Очевидно, ей хотелось сказать больше того, что ей было поручено. Но Мила, не подымая глаз, сделала жест рукой: не мешайте. Нетерпеливо, переступая с ноги на ногу, Глаша почти выкрикнула:

– И не-мед-лен-но!

– Что? – И Мила снова наклонилась над тетрадью. «Всё, кружась, исчезает во мгле»... и мы... и я... когда-то... и останется только Солнце любви... Оно единственное вечно. И если я люблю, я касаюсь вечности... Я потом исчезну... пусть! но я коснулась Солнца любви!»

– Барышня, родители ждут!

– Слышу, слышу, – отмахнулась Мила – и продолжала про себя: «Как я научилась думать! Это с тех пор, как я начала любить. Смерть и время – тёмные призраки, они движутся и за мною. Пусть. Счастье в том, что я вижу Солнце любви».

– Барышня!

– Ах да... Что ты сказала? Родители? Что родители?

– Они ожидают вас в б о л ь ш о й г о с т и н о й! – Глаша пискнула от волнения.

– Иду, – ответила Мила рассеянно.

– Барышня! – выкрикнула Глаша в волнении. – Они же ожидают... желают видеть н е м е д л е н н о и в б о л ь ш о й г о с т и н о й и... – её голос хрипел, как бы сообщая великую тайну, – там г о с т ь!

– Оставь меня. Скажи: иду!

Она встала. Это была уже взрослая Мила. Спокойная грация заменила прежнюю детскую живость движений. Она была очень хороша собой, той нежной, сердечной красотой, которая светит во тьме, напоминая лампаду, зажжённую благочестивой рукой.

Подойдя к старинному венецианскому зеркалу, Мила посмотрела на себя. Её образ выступил перед нею неясно, колеблясь в светло-сиреневой дымке, без резких очертаний,

словно там был тихий, раздумчивый день, слегка облачный, слегка пасмурный и необъяснимо печальный: «всё, кружась, исчезает во мгле...»

Вдруг удивление прошло по её лицу. Родители ждут? В большой гостиной? Эти её утренние часы были неприкосновенны: они посвящались чтению, дневнику, письмам. «Да, – вспомнила она, – третий день Рождества... Вероятно, гости... Но в такой ранний час! Странно».

Пригладив волосы, взяв маленький кружевной платочек и положив его в карман своего синего бархатного платья, она направилась в большую гостиную.

«В час папа и мама должны быть на приёме у Линдеров. Мама, вероятно, торопится переодеться и поэтому зовёт меня побыть с гостями».

Спокойно вступив на порог гостиной, она вдруг, почувствовала что-то совершенно необычное в атмосфере комнаты. Было совершенно тихо. Первыми она увидела отца и мать. Они сидели друг около друга, почти касаясь плечом, в странно-формальных, безжизненных позах, словно это были уже не они, а их портреты, завешанные потомству. Отец в парадной форме, мать – как она одевалась для официальных приёмов. Они оба улыбнулись ей неживою, натянутой улыбкой и были никак не похожи на себя.

– Мама! Что случилось? – воскликнула Мила, готовая броситься к ней.

Но мать повела глазами в сторону, как бы указывая на что-то. Быстро обернувшись налево, за её взглядом, Мила увидела гостя: поручик Георгий Александрович Мальцев стоял у окна.

Она увидела его в раме огромного окна, от потолка до полу, на фоне серебристо сияющего снежного сада. Свет зимнего солнца, отражаясь от снега и инея, преломляясь в массивном стекле, делал вид этого человека, его молчаливое присутствие нереальным, относил его в область видений, как часть призрачно-прекрасного пейзажа за окном.

Она сделала шаг вперёд, чтобы видеть лучше. Да, это был он. Как обычно, спокоен, сдержан и слегка печален. При первом её движении он уже шёл ей навстречу.

– Доброе утро, Людмила Петровна.

Она протянула ему свою вдруг похолодевшую руку, и он – вопреки обычаю – наклонившись, поцеловал её холодные пальцы, лишь слегка коснувшись их губами.

В ответ на это необычайное приветствие Мила посмотрела на него широко раскрытыми, испуганными глазами и, в смущении, ответила поклоном, склонив голову ниже, чем полагалось. Она, казалось, благодарила его за поцелуй, сама пугаясь и чувствуя, что её оставляет сдержанность светских манер.

– Мила, иди ко мне, – сказала мать, и голос её звучал так странно, что Мила вздрогнула. – Сядь подле меня. Папа скажет тебе...

Генерал, вместо того, чтобы говорить, вдруг покраснел, смешался и кашлянул несколько раз. Жена смотрела на него, ожидая, и он начал:

– Мила, наш дорогой друг, поручик Георгий Александрович Мальцев делает нам честь: он просит твоей руки. Некоторые обстоятельства, не зависящие ни от него, ни от нас, заставляют его... до некоторой степени... спешить... то есть просить скорого ответа. Ты ещё молода. Но мы – родители – решили, что ответ всецело зависит от тебя. Не желая влиять на твоё решение, мы и передаём тебе предложение Георгия Александровича без предварительного с нами обсуждения, так сказать, без подготовки. Это – твоя жизнь. Решаешь сама...

Он говорил, и Мила поднималась с кресла. Её лицо приняло испуганно-восторженное выражение. Когда генерал замолк, она быстро побежала к Мальцеву, затем вдруг резко остановилась. Её лицо страшно побледнело. Казалось, она вот-вот упадёт в обморок. Мать быстро подошла и обняла её. Забыв свой официальный тон, она воскликнула в испуге:

– Мила! Что с тобой? Мила! Мила!

Прикосновение материнских рук, её объятие вернули Милу к действительности. Волна радости подхватила её. Э т о б ы л а п р а в д а! То, что ей было сказано сейчас, – правда!

Она дрожала от счастья. Это был факт, это была жизнь – и невозможно было не верить. Он делает ей предложение, и нет силы, нет власти, нет в мире ничего, ничего, что могло бы это бы в ш е е сделать н е б ы в ш и м. Её Солнце любви стояло здесь, у окна, – и она будет его женою. Счастье! И – о Боже! – такой минуты, такой дорогой минуты уже больше не будет, не может быть никогда в жизни.

Она всплеснула руками. Освободившись от объятий матери, она побежала к нему: ответ, ответ, надо скорее ответить, чтоб закрепить... И глядя на него сияющими от счастья глазами, она сказала:

– Георгий Александрович! Я выйду за вас! Я давно люблю вас! Я согласна.

Отец и мать старались скрыть своё смущение от неловкости такого ответа, от неожиданности подобного поведения их Милы. Мальцев без особой поспешности сделал два шага к Миле, взял обе её руки в свои и, спокойно, поцеловал их одну за другую. Казалось, он сделал бы то же и так же, если бы она ответила: благодарю вас, Георгий Александрович, но я отказываюсь быть вашей женою.

Но Мила была ослеплена своею любовью и счастьем. До этого дня он не дал ей повода думать, что он замечает её, помнит её имя. Они виделись редко и только в большом обществе. Он был рассеян и безупречно, безлично вежлив. Он никогда не сказал ей ничего, что бы выходило из рамок светского разговора. И вот сегодня, сейчас она увидела, что он думал о ней, он делает предложение, он целовал её руки – и это всё правда!

И ещё раз всплеснув руками, она зарыдала от счастья. Счастье, пришедшее так неожиданно... и это спокойное утро, эти немногие слова, эта сдержанность её жениха придавали её счастью ещё большую глубину. Склонив голову, закрыв руками лицо, она плакала, и плечи её по-детски вздрагивали.

Родители Милы в растерянности и смущении старались её успокоить. Генерал первым пришёл в себя.

– Дорогой Георгий Александрович, – обратился он к спокойно стоявшему Мальцеву, – вы слышали наш ответ. Жена и я поздравляем вас и Милу и желаем вам долгой и счастливой жизни вдвоём. Извините нас за эту неожиданную сцену. Это наша вина, родителей. Мила ещё очень молода. Мы сделали ошибку, как неопытные в выдавании дочерей замуж, – пошутил он. – Надо было, конечно, её подготовить, мы же полагали, что верным будет первое движение её ума и сердца. Вы видели это движение, – ещё раз пошутил он. – Итак, извините нас, Георгий Александрович, и будем считать свидание законченным. Пусть Мила побудет одна и успокоится.

Мать Милы, опасаясь, что сцена может принять характер смешного, поторопилась протянуть свою руку на прощанье, добавив с милой светской улыбкой:

– К тому же и вы и мы должны быть у Линдеров к завтраку, в час. Но приходите сегодня вечером. Всё это будет большим счастьем для нас. И мы поговорим о дальнейшем.

Мила между тем старалась овладеть собою. Сияя улыбкой счастья и слезами, она говорила:

– Вы не подумайте, Георгий Александрович... это я так... Я ведь никогда не плачу... Правда, папа?

Отец погладил её по плечу, улыбаясь:

– Помолчи, Мила. Тебе уже нечего к сказанному прибавить. На сегодня вполне достаточно.

Мила встретила глаза жениха, и их выражение удивило её: в них не виделось того счастья, той любви, что кипела в её сердце. Было в них нечто иное, совсем непохожее, что-то вроде жалости, может быть, сожаления, лёгкой печали.

– Благодарю вас, Людмила Петровна, – сказал он, поклонившись и прозвенев шпорами, и снова он поцеловал обе руки Милы тем же спокойным поцелуем. Затем он поцеловал руку

генеральши, раскланялся с генералом и, сопровождаемый им, покинул гостиную. Мила и мать остались одни.

– Ах, Мила, Мила! – начала генеральша. – Ну как это можно! Что с тобою? Вот не ожидала от тебя! Подумай, как это могло показаться Георгию Александровичу он ведь так мало знает тебя. Могла услышать прислуга... Узнают в обществе... и именно в тот час, когда достоинство в девушке – главное, а ты...

– Мама! – воскликнула Мила. – О чём ты говоришь! Прислуга! Общество! Какое мне дело! Мы никогда не думали о их мнении.

– Это было прежде. Мы не знаем, как относится к мнению общества Георгий Александрович, его мать. Принимая его предложение, прежде всего думай об этом.

Генерал вошёл, довольный, что сцена закончилась, и начал смеяться.

– Ах, Мила! Обрадовалась, что берут замуж, даже заплакала от счастья!

И вдруг все трое, как это случается только в дружных и согласных семьях, начали громко смеяться.

– Не надо идти в театр... своё «Предложение» в большой гостиной! – задыхался от смеха генерал.

– Но подумай, положение жениха... сцена со слезами...

– Вынес! Он бравый офицер, перенёс не моргнув глазом... Не правда ли, Мила, он не заплакал!

– Да и Мила хороша! – смеялась мать. – Обрадовалась, что придётся покинуть отца и мать!

– Покинуть? Вас покинуть? – вдруг испугалась Мила. – «Усладу»? Нет, я не могу всё это покинуть. Знаешь, мама, мы его возьмём к нам, и будем жить здесь, все вместе.

– О, Мила, не приучайся думать, что всё будет по-твоему. Муж – глава семьи.

– Да-с, – смеялся генерал, – не рано ли наша дочь заплакала от счастья?

Генеральша тоже овладела собой и заговорила обычным тоном, в раздумье:

– Кто мог ожидать! Наша Мила выходит замуж и делает такую блестящую партию! Даже вчера, – обернулась она к мужу, – когда вы мне сказали, что поручик Мальцев желает нас видеть, обоих, и в такой час, так официально... я понимала, что едва ли может быть иной повод для этого... и всё же не верилось мне и не верилось, да и вы сами только пожимали плечами. Я ведь не решилась и намекнуть Миле, чтоб нам всем не попасть в смешное положение...

– Что касается смешного положения, то мы в него всё-таки попали, – смеялся отец.

– И затем, – продолжала генеральша, – встречались они редко и только случайно. Я не замечала ничего преднамеренного с его стороны...

– Удивительно, – шутил отец, – видел же он в столицах и за границей девушек покрасивее Милы, зрение у него, что ли, слабое?

Мила слушала, как ребёнок слушает чудесную сказку, которую ему рассказывают в первый раз.

– Мама! Вы догадывались вчера?! И вы могли молчать! Вы отняли у меня столько часов счастья!

– Хорошо, а если бы мы ошиблись? Как бы ты плакала тогда, – шутил отец.

– Папа, но теперь это наверное? Наверное?

– Вернее и быть не может – слово офицера!

– Но довольно, – решила генеральша. – Нам надо к Линдерам. Мила, пойдём к тебе на минутку.

В комнате Милы она прежде всего дала ей валериановых капель, с улыбкой: «Пей, невеста!» – а потом вздохнула:

– Какая жалость, что именно сейчас я не могу побыть с тобой!

– Но почему? Разве нельзя остаться дома?

– Сегодня нельзя. Это предложение, твои слёзы, наше отсутствие... Могут возникнуть толки...

– Но нам что? Пусть возникнут!

– Ещё раз, Мила! Теперь ты должна очень считаться с мнением общества. Ты вступаешь в родство с Мальцевыми. Они почти не знают нас и тебя. Мы не знаем их отношений к людским толкам. Они принадлежат к высшему столичному кругу. По крайней мере, хотя бы на первое время надо быть очень осмотрительными. Когда они больше узнают тебя, полюбят, конечно... Но твоя будущая свекровь больна. Это она настаивает на возможно скорой свадьбе...

– О, душечка! – воскликнула Мила.

– Но, Мила! Как ты ведёшь себя!

– Мама, не буду... Я выпила капли! Что дальше?

– Дальше? Ты принимаешь самое серьёзное решение во всей твоей жизни. Не надо шутить. Ты правда чувствуешь, что это будет твоим счастьем? Дай мне хорошо посмотреть на тебя. Дай я тебя перекрещу, мой ангел! Храни тебя Владычица! Побольше будь одна. Старайся хорошо разобраться в своих мыслях и чувствах. Если на душе у тебя смутно, свадьбу надо отложить...

– Отложить?! Ни за что! Он ведь может раздумать! Мама, что во мне? Есть лучше, богаче, красивей. Нет, нет, свадьбу нельзя откладывать!

– Положительно, Мила, сегодня ты поражаешь меня! Ну скажи, почему ты плакала?

– Почему! Я плакала от счастья. Я давно его люблю. Не подымай так брови: полгода в него влюблена... Я влюбилась в него давно, на моём первом балу. И вот, я расту, и любовь моя всё растёт и растёт со мной. А надежды, знаешь, никакой. Я молчала. Я начала вести «Дневник моей единой любви» – и мне нечего было в него записать, то есть всё о том, какие мои чувства, но ничего с его стороны, никаких фактов. Мы с ним виделись редко, и со мной он был совершенно как со всеми другими. Любовь моя ничем не питалась. И знаешь, мама, я думала – придёт день, и я услышу: поручик Мальцев женится на такой-то! Я готовилась: как переживу этот день, и переживу ли! Конечно, у меня есть ты, папа, братья, тётя, но я знала, что не полюблю никого больше и стану жить в одиночку, как тётя. Я горевала. Ты сама замечала, мама. Ты говорила: «Как переменялась наша Мила! Ходит тихо, говорит медленно». Ты даже думала – малокровие, и хотела везти за границу. А это было от горя. Ты не улыбайся! – говорила она, дрожа от волновавших её чувств. – На днях вижу, папа читает книгу и очень смеётся. Я взяла книгу к себе на ночь, чтобы тоже развлечься и посмеяться. И знаешь, мама, я проплакала всю ночь. Это был роман «Старая дева» Бальзака. Ты читала? Ты помнишь, как она упала в обморок, когда узнала, что их гость женат? П о ч е м у это смешно? Почему из всех страданий одно только горе старой девы вызывает смех? И даже у нашего доброго папы! И я увидела свою судьбу: быть несчастной старой девой и от этого всем казаться смешной! И я решила быть гордой, скрывать и скрывать мою любовь. Решила забыть. Стараюсь – никакого результата. Утром я просыпаюсь, и любовь моя просыпается со мной. И вот, мама, пойми, как он благороден сердцем! Он мог три года слегка ухаживать за мной – и я бы три года мучилась: увижу? что он мне скажет? Я бы стала ужасно ревновать: с к е м он говорит? ч т о он говорит ей? А он избавил меня от этих унижительных страданий. Он поступил по-рыцарски. Он пришёл и предложил мне свою жизнь, любовь и сердце. Мама, ты поняла? Ты больше не будешь спрашивать, почему я плакала?

– Поняла. – А про себя она подумала: «Боже, как мы мало знаем наших детей! Как мы упускаем из вида, что они вырастают! И это Мила, о которой я знала только, что больше всего на свете она любит фисташковое мороженое!»

Вслух она сказала:

– Слава Богу, что всё так хорошо закончилось, или, лучше сказать, так хорошо началось. Теперь мне надо идти. Завтра утром встанем пораньше и после ранней обедни отслужим моле-

бен. А сейчас успокойся и отдохни. Кстати, Полина придёт сегодня. Пересмотри с нею модные журналы, тебе понадобится много нарядов теперь. Затем пусть Глаша причешет тебя к вечеру. Георгий Александрович будет к вечернему чаю.

– Мама, – сказала Мила в ответ, – не странно ли это? Случилось такое необычайное дело, а мы – по-прежнему: ты – в гости, придёт Полина... Ведь всё-всё должно бы перемениться в нашей жизни сегодня. Надо всё бы забыть и думать только об этом и праздновать...

– Мы и начнём сегодня вечером, когда придёт Георгий Александрович, а сейчас – до свидания, невеста!

Глава II

Покинув Головиных, поручик Мальцев пошёл пешком, прямо, не глядя перед собою. Он шёл по направлению к казармам.

Итак, решено. Он сделал предложение. Оно было принято. И эта девушка, заплакавшая от счастья, будет его женою. И ещё раз он спросил себя: нужно ли было это делать?

Он шёл, не замечая и не узнавая прохожих. За «Усладой» начиналось поле, затем шли квартиры высших военных чинов полка, полковое собрание, церковь, контора, библиотека, полковой сад и, наконец, солдатские казармы; за ними кончались постройки и расстилалась равнина. В этот зимний морозный день она покоилась и уходила вдаль белым, сияющим, умиротворённым пространством. К этой равнине, к её безжизненному покою поручик Мальцев и направлял свои шаги. Ему хотелось быть одному, в месте, где нет движения, нет людских голосов, чтобы разобраться в том смутном и неприятном впечатлении, которое осталось у него после посещения Головиных.

Он прошёл, не заметив, мимо дома Линдеров, куда уже начали собираться гости, и экипажи их вытягивались в линию по улице. Так же рассеянно прошёл он мимо казарм, не отвечая солдатам, вытягивавшимся в струнку, отдавая ему честь. Это было необычайно, и солдаты провожали его удивлёнными взглядами. Они любили поручика Мальцева за его корректность, справедливость, за полное отсутствие в нём искательства перед высшим начальством, за его всегдашнюю готовность взять сторону солдата, а не высшего чина. Они также любили его за красивую наружность, за его статность, хорошие манеры, за его богатство и щедрость. Им гордились.

Он шёл своим размеренным шагом, не замечая, что затуманилось небо и начал падать снег. В воздухе стояла та же задумчивая и слегка печальная тишина, что и в его душе. Он сливался с нею, и она, умиротворяя, баюкала его. Мысли его потекли стройным порядком.

Внешне всё было ясно, логично и просто. Он женится, уступая настояниям больной, умирающей матери. Она хочет увидеть его женатым, устроенным в семейной жизни. Их на свете всего двое: мать и сын. Она, умирая, не хочет оставить его одного. Она опасается, что он ещё глубже уйдёт в своё одиночество и не женится вовсе. Она уверена, что жена и дети дадут настоящий смысл и интерес его жизни. Она торопит его, желая, прежде брака, увидеть его невесту, увидеть, какая жена, какая семья ожидают его. Времени мало, она настаивает, чтобы он поспешил. Послушный и любящий сын, он согласился. Он выбрал невесту, как советовала мать: молодую, здоровую, из хорошей семьи и с безупречным именем. Богатство, высокое положение в обществе, связи для Мальцевых не имеют значения.

Он так и сделал, и предложение его принято.

Это – внешнее положение вещей, но в его внутреннем мире, в его сердце не было ни простоты, ни ясности.

С некоторых пор, без всякой отчётливо видимой причины, жизнь тяготила его. Он в ней не испытывал радости и не видел смысла. Жить дальше казалось ненужным: он ничего не любил, ни к чему не стремился, ничего не желал. Людей он сторонился, многих открыто презирал; книги перестали его занимать; религия давно потеряла для него всякий смысл, о бессмертии за гробом он мог думать только с улыбкой. День смерти неизбежен, и если жизнь утратила смысл – зачем ждать? Почему бы не приблизить к себе этот день? Не смешно ль трусливо ожидать старости, болезней, постепенного физического разложения, когда можно одним движением руки прекратить жизнь теперь же и уйти прилично – молодым и здоровым.

Он всё больше искал одиночества, покоя и тишины – преддверия небытия. Небытие привлекало его – завершённая тайна, а жизнь – случайна, нечистая накипь на её краях. Небытие – родная душе стихия, всё живое уходит туда. Туда! Туда! Жизнь – жалкая, неловкая, неудач-

ная поза, ложь, игра с невидимым партнёром, заведомо битая карта. Но небытие – первичное состояние, и к нему естественно льнёт душа человека. Она предвкушает его во сне и только так отдыхает.

Он полюбил дни как сейчас, без солнца, без звуков, без примет жизни, как это ровное чистое снежное поле пред ним. Чем меньше связей с миром, тем легче и лучше. У него их было немного: мать, лошадь, денщик, револьвер.

Он не имел жалоб ни на кого, ни на что. Судьба, в насмешку, одарила его всем, что обычно делает человека счастливым, всем тем, чего люди желают и ищут. Но ему ничего не было нужно. Жизнь сужалась пред ним, тропинка становилась всё темнее и уже: к одному – к небытию, к уходу из жизни.

Этим всем он ни с кем не делился. В его положении было бы смешным выглядеть трагически. Он понимал это, старался выглядеть как все и казался только рассеянным и усталым. Для себя он предполагал объяснение: возможно, родился с пониженным чувством жизни – дитя от несчастливого брака. И хотя для всех посторонних он продолжал ещё быть всё тем же – молодым, здоровым, красивым и сильным, – сам себя он видел иначе. Для себя он был грустный и сморщенный неразговорчивый карлик, кому чужд был пафос человеческой жизни. Только мать отчасти угадывала это – и торопилась привязать его туже к тому, что есть человеческий жребий на этой планете.

Он знал: товарищи его не любили. Отчасти из зависти: он был всех богаче и имел связи в высшем обществе столицы; отчасти оттого, что он не мог быть тем, кого называли «рубаша-парень», не жил со всеми нараспашку, не откровенничал, не слушал и не рассказывал любовных историй, настойчиво избегал и карт, и кутежей. Его появление даже связывало его товарищей, понижало их веселье. Он был чужой. Его чувствовали пришельцем, критиком. Никто, однако, не сомневался в его благородстве, смелости, честности, но они выражались в такой холодной, корректной форме, что этим своим превосходством только стесняли и раздражали других. Его избегали. За глаза его называли «опасный человек», но в глаза никто бы не решился на такую шутку.

Но именно за те же качества его любили солдаты. Для женщин он был неотразим, и его холодная, безукоризненная, совершенно одинаковая ко всем – дамам, барышням, красивым, молодым, старым, уродам – вежливость и очаровывала их и приводила в отчаяние.

В полковой жизни не было секретов. При желании можно было знать всё обо всех в их частной жизни. О Мальцеве знали, что в прошлом, в первой поре своей юности, он кутил, ухаживал, играл в карты, а потом всё это бросил. Отсутствие чего-либо мало-мальски скандального в его настоящей жизни – при его возможностях! – казалось удивительным, странным. Уже третий год как он был в полку – и ничего! Он бывал там, где служебное положение обязывало его бывать, делал что полагалось, говорил, что было необходимо, – ни больше и ни меньше. Эта его безупречность тоже создавала ему недоброжелателей среди мужчин: она понималась как высокомерие, как нарочитая надменность. Но всем было также вполне очевидно, что он не старается выдвинуться, не ищет карьеры, никому ни в чём не стоит на дороге, – за это его ценили и терпели.

Жениться он не собирался, и сегодняшний шаг был уступкою матери. Он избрал Милу, понимая, что именно она и понравится его матери.

В детстве, живя дома, он, как и многие дети, не задумывался о семейных отношениях в доме. Там царил порядок, немногословная вежливость, однообразие, комфорт, тишина. Его определили в военную школу, и он стал только гостем в семье. Он был уже офицером, когда отец умер. Однажды, по дороге на манёвры, не предупредив, он заехал домой. Его не ожидали. Имея всего два-три часа свободного времени, он торопился и прошел прямо на половину матери, в ее гостиную. Там он услышал её голос, она с кем-то говорила в своей спальне. Он сел в кресло, ожидая, когда она выйдет, не желая мешать.

Скорбный тон голоса удивил его. На что она могла бы жаловаться? Она говорила: «Покоряюсь Божьей воле... принимаю безропотно, как принимала несчастье всей моей жизни. Вижу, что после тяжкой жизни меня ожидает мучительный конец. Поддержите меня молитвой: я совсем одинока. Около меня нет родного человека. Один сын у меня, но он всегда вдали, и у него нет ко мне сердечной привязанности...»

Он понял, что мать говорит со священником. Возможно, это была исповедь, так как священник начал вслух читать молитву.

Жорж на цыпочках ушёл из гостиной.

Услышанное поразило его. Он прежде никогда не думал, чем была жизнь матери. В сердце его впервые проснулась к ней жалость и нежность...

Затем он увидел её. Она выглядела уже обречённой. «Рак печени, – сказала она ему, улыбаясь, и ничто в голосе её, ни в тоне не напомнило, как она говорила со священником. – Не огорчайся, надо же от чего-то умирать человеку. Смерть для всех неизбежна, как бы она ни называлась, эта последняя болезнь». Она говорила спокойно, полушутливо.

«Так она всегда говорила со мною, – вспоминал Жорж, – она ни с кем не делилась горем. И теперь она должна была позвать чужого человека и у него искать утешения. Мне она не станет жаловаться, ни плакать передо мною. Она думает, что я чёрств и её жалобы вызвали бы во мне только досаду».

Жалость и нежность к ней всё подымались, всё росли в его сердце. Он продлил отпуск, оставался с ней, сколько мог. Но он не был способен к сердечным излияниям, не склонен к проявлению чувств. Он не сказал ей ни одного из тех простых, но от сердца идущих слов, какими другие дети говорят с матерью. Взамен он окружал её молчаливой заботой и вниманием, оставаясь часами с нею, не выходя из дома.

Наконец она решилась поговорить с ним откровенно.

Она просила его жениться: «Пока я жива». Она просила его переменить образ жизни, оставить военную службу.

– Ты будешь всегда одинок в военной среде. Она не по тебе. Женись, путешествуй. Поезжай на юг, в наше имение, займись хозяйством. В деревне легче и проще сходятся люди, возникает дружба. У тебя будет семья, дети, полезный труд. Ты увидишь, как прелестна будет жизнь, если ты выберешь в жёны девушку по сердцу. Помни, в человеке главное – характер. Женившись, ты живёшь с характером жены, не с её умом или красотой. Выбирай простую сердцем и добрую. Если женишься скоро, она побудет со мною в мои последние минуты. Я буду любить её, я буду видеть ваше счастье, и мне легче будет переносить болезнь. Я умру спокойно.

Он соглашался со всем, что она говорила, он обещал. Теперь, когда мысли его обратились к ней, он увидел в прошлом многое, о чём прежде не думал: тяжёлый характер отца, его эгоизм, его мании, всегда приглушённые голоса прислуг, припадки тихого отцовского гнева по самым ничтожным причинам – и её всегдашняя покорность, её молчание. И он, сын, никогда, ни разу, не подошёл к ней с нежным словом. Нет, он был лишь корректен, сдержан и вежлив. И теперь, лишь бы загладить прежнюю холодность, он соглашался на всё. А она, как дитя, светлея лицом, благословляла его на женитьбу, на грядущее счастье.

Уехав, он готов был забыть свои обещания, но она всё писала, напоминала, просила. Он получил письмо от её доктора: конец близился и был неизбежен. А она писала: «Живу, стараюсь дожить до того дня, когда увижу тебя с твоею женою, здесь, в доме, у моей постели». Он решил уступить её просьбе и стал выбирать невесту. Дело было нелёгкое. Провинциальная сентиментальность и манерность барышень его отталкивали. В моде были «загадочные», неудовлетворённые натуры, а также трагические и декадентские. Он содрогался при мысли связать себя и жить с существом подобного рода. Зайдя как-то раз к Головиным, в день, когда не было других гостей, он был привлечён и очарован их простотой, сердечностью и весельем. Главное для него – в них не было ничего деланного, ничего смешного. Головины ни за кем не тянулись,

ничего не разыгрывали, ни перед кем не заискивали и никому не завидовали. Тётя Анна Валериановна ему особенно понравилась, но она была много старше, в невесты не годилась. Мила показалась ему простушкой, но безобидной, приветливой и скромной, без поз и кривляний. Братья её – джентльмены. Женясь на Миле, он мог не стыдиться её родни, не избегать их. Он был уверен, Мила понравится его матери. И это, главным образом, решило судьбу Милы.

Георгий Александрович не был влюблён. Мила лишь казалась ему наиболее приемлемой из всех барышень его круга. К тому же ему приятна была и атмосфера «Услады». Он надеялся, что Мила сумеет и свой дом поставить по тому же образцу. Хотя и влюблённая в него тайно, Мила и при нём держалась спокойно, без кокетства, не стараясь казаться интересной, она была даже слегка застенчива, но с большим достоинством. Ему нравились её манеры.

Но сегодня... Поведение Милы, её экзальтированность («Я давно люблю вас!») неприятно его поразили. Он начал бояться, что сделал ошибку. Он уже почти сожалел о своём выборе. И только мысль, что сегодня, сейчас он пошлёт телеграмму матери, радовала его. «Пусть, там будет видно, но сейчас...» И он думал о том, что немедленно надо отправить невесту в Петербург, чтоб она познакомилась с его матерью и погостила у ней. Он был уверен, что Мила будет почтительна, приветлива и ласкова с нею, и это говорило в пользу его выбора. Что касается её восторженности, её порывистости, тут необходимо сразу же принять меры: тактично, без слов, своим поведением дать ей понять, что он не любит сцен, враг сентиментальности, считая её смешной и излишней. Пока Мила только его невеста, легко будет держать её на расстоянии, это даже и принято. Когда станет женою, ей можно будет и прямо сказать, что слёзы вообще неприятны, в восторженности и взволнованности нет достоинства. А пока, если она обратит свои нежные чувства на измученную недугом мать, то, возможно, именно это и обрадует тяжко больную, одинокую женщину.

Он снова подумал о телеграмме, о той радости, какую она принесёт его матери, и в его сердце встала даже тёплая благодарность к Миле. «"Я согласна!"» – как она это сказала! – улыбнулся Георгий Александрович. – Как ведь обрадовалась! Но хорошо: так быстро всё решилось, и можно послать телеграмму».

Он остановился и осмотрелся. Он давно свернул с дороги. Впереди расстиралось мирное белое поле. Неподальку, в стороне, виднелись последние постройки – полковые оранжереи. Это был ряд низеньких строений со стеклянными крышами, частью прикрытыми соломенными настилами, в иных местах защищённые от снега наклонными навесами. За стёклами туманно виднелся роскошный сад нежных цветущих растений. При этом снеге вокруг, при этом тусклом свете и грустном покое и холоде, цветы казались миражем, отражением какого-то другого, далёкого мира.

Он стоял, смотрел, и тихая нежность прокрадывалась в его сердце. «Я согласна. Я давно люблю вас», – сказала она и заплакала. Но он не хотел давать воли своему чувству, решение было принято. Влюблённая женщина вообще казалась ему неприятной, даже несколько смешной. Его более привлекал тип «скрытых горений», как Анна Валериановна или Саша Линдер, о чувствах которых никому ничего не было известно. Тут он вспомнил о приёме у Линдеров. Идти было уже поздно. «Надо послать цветы с извинением, – подумал он, – заодно и букет Людмиле Петровне. Ей даже необходимо – и именно сегодня».

Открыв дверь оранжереи, он спустился по скользким ступеням вниз. Волна тёплого воздуха, ароматного и нежного, встретила, обвила и поглотила его. Полусвет и тишина. Он остановился перед цветами, уже совсем спокойный и радостный, и любовался ими. Это была одна из редких минут в его жизни, когда при виде красоты он думал, что жизнь может быть и лёгкой, и приятной.

Все цветы были особенного, хрупкого, оранжерейного качества. Они и не казались настоящими, теми, что буйно цветут под жарким солнцем лета, спят, разливая аромат при луне, и к осени дают семена. Эти цветы были изящны, и хрупки, недолговечны, и бледны. Они свиде-

тельствовали о непрочности искусственного земного счастья. Но аромат их, стущаясь в закрытом строении, под стёклами низкого потолка, был силён и крепок, он не разливался по полям и садам, он весь был здесь. Казалось, цветы торопились отцвести и умереть поскорее и тайно, ароматом своим, сообщали об этом человеку: мы готовы! скорее, скорее!

Георгий Александрович кликнул служащего, чтобы заказать букеты.

– Какие цветы сейчас самые редкие?

– Должно полагать, ваше благородие, что ландыши самые редкие, – подумав, отвечал садовник. – Как на дворе декабрь – то ландыши, не иначе.

На приказание собрать большой букет ландышей и отослать в «Усладу» он отвечал, что малый букет можно собрать, а на большой цветов никак не наберётся, не по сезону. И он указал Мальцеву на несколько маленьких, словно озябших патетических кустиков. Их колокольчики чем-то напоминали осиротевших детей.

– Жаль, – сказал Георгий Александрович. – Что ж, пошлите букет какой выйдет. Соберите для него все ваши ландыши.

Он повернулся, чтоб уйти, но вспомнил о Саше Линдер.

– Какие цветы самые дорогие здесь, в оранжерее? – спросил он садовника.

– Розы тут есть у нас, ваше благородие. Особенные. Дороже и быть не может.

Никакие цветы не были слишком дороги для букета Саше Линдер, никакие не могли быть достойны её красоты. Мальцев приказал сделать большой букет из всех лучших роз и послать с его карточкой Саше Линдер.

Услыхав это имя, садовник и сам расцвёл:

– Не извольте беспокоиться, ваше благородие! Замечательнейший пошлём букет, какого лучше и вообразить невозможно.

Глава III

Оставшись одна, Мила не знала, что с собою делать.

Счастье! Оно стояло перед нею. Она слышала его голос, зовущий вдаль. Над нею витали его светлые крылья. Ей хотелось бежать, лететь, петь и всё рассказывать и рассказывать о своём счастье. Необычайная, праздничная тишина в доме казалась ей невыносимой, словно кто украдывал у ней минуты счастья. Она не могла оставаться в своей комнате, сидеть на месте. Она дрожала от ожидания и нетерпения. Ей казалось, что-то ещё должно случиться, вот сейчас же, сию минуту. Ей казалось, события теперь должны ринуться лавиной, рекою политься – все радостные, все счастливые, неопишутые, не передаваемые словами.

Вокруг стояла тишина.

Она пробовала написать в Петербург братьям и тётке. Напрасно. Об этом невозможно было писать. Только ангел небесный с трубой мог бы должным образом возвестить о таком событии. Что земные слова!

Всякое предложение и любовь называются на людском языке одними и теми же словами.

«Пойду по дому, – сказала она себе, – посмотрю, как всё выглядит сегодня, и в каждом углу остановлюсь и буду думать о моём счастье. Пусть оно запечатлится на всём».

Она прошла в застеклённую галерею при доме, служившую зимним садом. Олеандры в цвету наполняли всё своим и сладким и вместе горьковатым ароматом. Причудливые карликовые сосны в фарфоровых вазонах – японские гости – пришли, казалось, из сказочного царства лилипутов. Мелкие розоватые цветы бегонии, называвшиеся «зима и лето», скромно выглядывали из-под волосатеньких листьев. Цикламены гордо сияли своей красотой. В золотой овальной клетке, равнодушный давно ко всему, доживал свой век попугай Иов.

– Я выхожу замуж! – сказала ему Мила. – За Георгия Александровича Мальцева.

Молчание.

– За милого, милого Жоржа!

Недовольно крикнув, попугай начал чистить у себя под крылом.

Возмущённая его равнодушием, Мила подошла ближе и потрясла его клетку.

– Я выхожу замуж! – крикнула ему Мила.

Кольнув её сердитым взглядом, в профиль, одним глазом, Иов крикнул:

– Чаю, чаю! Бедный попка хочет пить!

Оставив его, она подошла к стеклянной двери оранжереи. Соломенный занавес был отодвинут. Аспидистра стояла у стекла, и льдистый, лёгкий рисунок на стекле повторял её зелёные узоры, словно были они одной семьи и та, другая аспидистра жила в стекле. Освещённая снаружи, она сияла и светилась необыкновенной, захватывающей сердце красотой. Эта прозрачная аспидистра, только видение, мираж, мечта, была необъяснимо прекраснее, лучезарнее той, земной, настоящей, зелёной.

Мила смотрела и как-то поняла сердцем эту пропасть между реальною жизнью и мечтою о ней.

«Она лучше. Она прекраснее... Но что же! Она вот-вот растает, и на стекле не будет ничего. А завтра здесь, возможно, возникнет совсем другой узор».

Но ей было до боли жаль, что сияющий восхитительный рисунок замечен только ею, и больше никем; что едва появившись, он должен исчезнуть; что такое чудо красоты – рисунок зимы на стекле – является на миг, чтобы растаять вскоре без следа. Зачем создавать и губить, если невозможно существовать и длиться? Лучше уж не было бы этого совсем, и сердце б не болело о невозможности жить, не расставаясь с такой красотой.

Она перевела взгляд на настоящую, зелёную аспидистру, и та показалась ей грубой, почти вульгарной. «Но в этой есть жизнь! – подумала Мила. – Она будет жить, зеленеть, затем осы-

паться и вянуть. «Всё, кружась, исчезает во мгле»... Жизнь так коротка...» И вот эти минуты, когда Мила бродила одна в доме, ей показались безжалостно выкраденными от счастья, потерянными.

Где-то плавно пробили часы.

Возможно ли! В такой день, в такой час она одна бродит по дому! Боясь снова заплакать, Мила побежала в свою комнату и позвонила.

Горничная Глаша, всё так же пылая волнением и любопытством, запыхавшись, прибежала на звонок.

– Глаша, причешите меня к вечеру. У нас к чаю будет один гость...

– Ой, барышня ж! Ой, я ж знаю! – воскликнула Глаша, от волнения роняя гребень и шпильки. – Так это их же ж благородие будут!

– Вы знаете, что...

– Та я раньше же вас, барышня, знала, что их благородие сватают...

– Раньше меня? Каким образом?

Мила круто повернулась, и они обе в волнении, молча смотрели одна на другую.

– Кто сказал? – наконец промолвила Мила.

– Тимофей! – И лицо Глаши залилось румянцем.

– Тимофей? Какой Тимофей?

– Они денщики их благородия, барина Мальцева.

– Денщик! Но как же он мог знать?

– Так они ж вместе живут. И видит Тимофей, барин надевают парадный мундир и приказывают белые новые перчатки, не те, что вчера в первый раз они надевали, а новые. А в полку парада нет. Вот оказия! Тимофей – голова! – тут и догадался: никак барин идуть свататься. Знал Тимофей, что барин давно влюбившись...

– Влюбившись? Да?

– А как же! Не ест... папиросу не в пепельницу, а то в сахарницу, то в вазочку с вареньем положат – и не замечают... и пальцами вдруг побарабаният – даже сердито, – а раньше пальцами они не барабанили.

– О! – только и могла сказать Мила. – Никогда?

– Никогда! – с силой подтвердила Глаша. – Случая такого не было. И на телефон не стали отвечать. В офицерское собрание вечером не поехали. Тимофей на цыпочках ходил: видит, серьёзное дело. И тоже уж так волновался...

– Кто? Барин Мальцев?

– Та нет, Тимофей.

– Тимофей? Отчего?

– Догадаться не мог, за кого же барин Мальцев свататься станут. А как сегодня надели их благородие парадный мундир, взяли перчатки... так он, можно сказать, так и зашатался...

– Зашатался? Барин Мальцев?

– Нет, Тимофей зашатался. Решается, думает, моя судьба. Кто-то будет у нас «её благородие»? Вот барин Мальцев пошёл, а Тимофей за ним, крадучись... И болит у него сердце...

– Сердце болит? У кого?

– У Тимофея. Так и идут они: барин Мальцев впереди, а Тимофей за ним... за ним... Подходят к дому капитана Пяткевича. Закачался, зашатался Тимофей. Господи, Боже ж мой, – думает, – неужели ж жёлтая лицом гордячка Казимира будет нашим «её благородием»? Ну, барин Мальцев шагает мимо. Да вдруг словно замешкался у крыльца полковника Мельникова. Тут Тимофей чуть в обморок не упал. Да знает ли его благородие, что у Мельниковой Киры-барышни половина зубов вставленных и на ночь она их в блюдечко выкладывает, рыбий жир она пьёт бутылками – и весь дом у них так рыбой пахнет, как наша слободка у Керчи. Да хоть и зовут её Кирой, настоящее имя – Калерия, как болезнь! Нет, нет, – решил Тимофей, –

лучше руки на себя наложить, чем видеть барина так поженившись. Опомнился Тимофей – и видит: барин Мальцев идет да идет вперед. Дальше – горе! Зотовская квартира, барышень там шестеро, только и толку, что Тамара танцует хорошо, ну, Тимофею не танцевать же с ней, да и стыд – беднота там такая! На обед суп с мясом, и без ужина. Если ужинать, говорят, кошмары барышень ночью душат! Дальше идет барин Мальцев, мимо зотовских барышень. А там – пронеси, Господи! – генерала Кострова поместье, а у их Марионилы левый бок кривой, глаза косят, и они заикаются. Семья, правда, богатейшая, только скупые очень. И все ссорятся, а барышня, рассердившись, на собственную маменьку ножкою топает. Но мимо идет барин Мальцев. На квартиру Ситницких даже и Тимофей не опасается: младшей дочке – тринадцать лет, а все четыре обморокам подвержены: так и падают, так и падают. А тут кончилась Батальонная улица, и страх напал на Тимофея: неужто городская будет невеста? Городских барышень Тимофей мало знает, не интересовался. Но вот поворачивает их благородие, прибавляет он шагу – а тут только и есть, что наша «Улада». Возрадовался душой Тимофей и возблагодарил Господа Бога. А как барин Мальцев пошел к парадному крыльцу, Тимофей – за угол, в боковую калитку. Я же ему и на пороге встретилась. Он мне говорит: с поздравлением, Глаша! Жениться на вашей барышне! И мы, – говорит, – с вами, Глаша, вроде теперь как бы родственники. Ну, я с ним всегда держу себя гордо – и говорю: бессовестный вы человек, Тимофей Кузьмич! вам бы всё насмешки! А сама бегу, звонок слышу. И как увидела я их благородие... в форме парадной, взгляд суровый, – прослезилась я от чувств, от всей этой картины. До смерти не забуду сладкой минуты!

Увлеченная рассказом, Мила позабыла об условностях и традициях дома: хотя отношение к прислуге в «Уладе» было прекрасное, подобные откровенные разговоры не были приняты, а Мила выслушала от горничной критику своих подруг, барышень её общества. Но центром её внимания был только Георгий Александрович, и от рассказа она не могла оторваться. А Глаша пела:

– И опять же, как уходили барин Мальцев, я за ним закрыла двери, наперегонки с Семёном бежала. Не швейцар я и не лакей, но тут не утерпела. Папаша ваш даже покосился на меня, что это я у парадной двери... И уж так видно было, что любят они вас!

– Кто? Папа?

– Нет, барин Мальцев. И вот уж любят так любят: душою!

– Но как ты это можешь знать?

– Да ведь они дали мне на чай три рубля. Истинный Бог! Вот, смотрите сами, барышня!

Вынув из кармана, Глаша разгладила рукою и подала трёхрублёвый кредитный билет. Они обе смотрели на него некоторое время благоговейно, словно это было редкое сокровище.

– Взяла я этот билет, – промолвила Птша, – и говорю барину Мальцеву: «Благодарствуйте!» – а сама вот так и качаюсь, так и качаюсь на ногах, потому что в сердце моём к ним чувство.

– К деньгам?

– Нет, к их благородию! Ну, и к деньгам опять же. А они и не поглядели даже. А лицом – бледные такие... вижу, страдают очень...

– Страдает? – испуганно воскликнула Мила. – Но почему?

– А как же! Любовь! Мы, девушки, от любви румянцем вспыхнем, а молодой человек от любви бледнеет.

– Да? Но почему?

– А кто ж знает. Богом так устроено.

Но вдруг Миле стало тоскливо, неприятно. Она подумала, что совсем не нужно было ей говорить о любви. От слов что-то потускнело в картине её счастья. Она сидела молча, полукрыв глаза. Её распущенные волосы почти касались пола. Поняв её нежелание продолжать разговор, Глаша, глубоко вздыхая, занялась причёской.

Тонкий звук, не то шелест, не то шорох, прошёл по комнате: на пороге возникла портниха Полина Смирнова.

– С праздником, Людмила Петровна! Вот модные журналы!

– А, здравствуйте, Полина! – обернулась к ней Мила. – Хорошо, что вы пришли. Вы мне очень нужны. Садитесь, пожалуйста. Как только закончу с причёской, я буду с вами.

– Могу я спросить, для какого же случая желаете вы иметь это платье? – заговорила тихо Полина, предварительно пробормотав несколько слов, выражавших её удивление перед замечательным вкусом заказчицы: лесья была неотъемлемой частью её разговора с дамами. – Это платье – вечернее...

– О, для замечательно-торжественного случая! – воскликнула Мила.

– Я могла бы предложить изменить немного отделку, но не осмеливаюсь: куда же мне! Природа наделила вас, Людмила Петровна, богатым вкусом. Что касается элегантности, мой глаз не стоит вашего. Но вот эти три промежуточные складочки... к месту ли они? Знай я точно, для какой именно цели это платье...

– Так я скажу вам! – воскликнула Мила, снова в восторге при мысли о своём счастье. – Скажу, но обещайте мне, Полина, на некоторое время держать в секрете, всего на несколько дней!

– Верьте мне, – отвечала портниха смиренно и, вместе с тем, с глубоким достоинством. – Хотя я и всего-то-навсего рабочая женщина и уже давно не осмеливаюсь себя сравнивать с кем-либо в чём-либо, секреты хранить я умею!

– Так слушайте! – И Мила всплеснула руками: – Я – невеста! Мне нужно платье для вечера, когда о помолвке будет объявлено.

Портниха сделала быстрое движение назад, словно кто ударил её в грудь кинжалом. На миг в комнате воцарилась странная и немного чем-то даже страшная тишина. Затем Полина заговорила – и её голос звучал так, словно что-то стало комком поперёк её горла. В преувеличенно лстивых выражениях она восхищалась счастливым известием и поздравляла Милу. И чем больше она восхищалась, тем сильнее падало возбуждение Милы, и она снова пожалела, как и в разговоре с Глашей, что поделилась новостью. Наконец, навесторговавшись, Полина сделала паузу и, отдохнувши, спросила:

– Могу ли узнать, кто же счастливый избранник?

– Поручик Георгий Александрович Мальцев!

Полина снова отпрянула к спинке стула, будто её ещё раз ударили кинжалом в грудь наотмашь. Она даже на миг закрыла глаза, но тут же заговорила:

– Понимаю... Что ж, лучшей на свете нет пары... Предмет зависти всех неженатых и не вышедших ещё замуж. Не зная лично поручика Мальцева – куда ж мне! – я не раз любовалась им издали и смело вам, Людмила Петровна, повторяю: лучшего в мире нет жениха. Обещаю, наше платье к обручению будет высоким предметом искусства, вышедшим из рук глубоко вам преданной женщины. А складочки эти мы уберём!

Она развернула выкройку.

– Начнём немедленно. Схожу только в швейную комнату за ножницами и бумагой. Модель из бумаги будет готова к вечеру. И ваша мамаша, возвращаясь, поможет нам обсудить вопрос с материалом.

И она ушла, бормоча:

– Ну и любопытно же всё на свете... Как, однако же, всё любопытно.

Очевидно, у парадного входа был звонок, так как и наверху было слышно, как вихрем, с восклицаниями, промчалась Глаша. Смелая в отсутствие господ, она, не сдерживая голоса, кричала:

– Я отворю!

Через минуту, красная, задыхаясь, она появилась в комнате Милы с букетом в руках.

– Прислано от их благородия!.. От них! – И, взвизгнув восторженно, подала букет Миле. – Господи благослови! Уже начинают посылать подарки! Ну прямо ангельского чина человек!

Мила взяла букет, не слыша слов Глаши. Цветы! Ландыши! Именно ландыши она любила. Но как он мог знать? Она всё всматривалась и всматривалась в них, прижимая букет к груди. А они, под её взглядом, казалось, меняли свой образ. Увы! это были не те ландыши, что она так любила, не те, что вольно, радостно расцветали в свой день у лесов на полянах. Это были искусственно выгнанные из почвы цветы оранжереи. И в них была своя, но иная уже прелесть: не белые, скорее зеленоватые, они походили не на живой цветок, из первых детей весны, они напоминали собою тонко выполненную копию их.

Букет был заключён в круг зелёных листьев, но они ничего не знали о солнце и были так же безжизненно хрупки.

«Он не любит меня! – вдруг подумала Мила. – Что-то в этих цветах мне говорит: он не любит меня».

– Позвольте и мне – хотя издали – полюбоваться букетом, – зашелестел шёпот, и, обернувшись, Мила увидела Полину с большими ножницами в руках. Она держала их высоко в руке, как знамя.

Мила протянула ей букет.

– О, я не прикоснусь... не смею... я издали, куда ж мне! – Но её взгляд быстрой ящерицей скользнул по букету и по лицу Милы.

– Самый к о р р е к т н ы й букет! – произнесла она отчётливо и громко. – Ф о р м а л ь н о рекомендуется на многие случаи в жизни людей высшего общества. И не только для обручений, – уже зашептала она, – но и для именин молодых девушек, для выздоравливающих, при окончании института, для первого бала, серебряной свадьбы... для похорон...

«Для похорон» – сказала она это, или это только послышалось Миле? Мила отпрянула с букетом, а Полина – громче, как ни в чём не бывало – продолжала:

– Всё равно что и незабудки, тоже совершенно бесстрастные, чистые, я бы сказала, возвышенные, бестелесные цветы, как и маргаритки, тоже детский цветочек!

«Детский цветочек! – Сердце Милы сжалось от боли. – Он не любит меня! – подумала она снова. – И это видно даже посторонним – по его букету! – И гнев охватил её сердце. Казалось, её беспредметное беспокойство, её смутная тревога нашли наконец своё основание и форму. – Но тогда – как объяснить его предложение? Чего он ищет во мне? Что он думает найти?»

Она снова была одна в комнате, и от сомнений ей делалось страшно. «Что это стучит так? А, это стучит моё сердце! – Её охватило возбуждение: разобраться во всём, сейчас же, сейчас же найти ответ. – Факты, факты! – приказывала она себе. – Одни только факты! Пусть ни любовь моя, ни мои чувства, ни воображение не добавляют ничего».

Но факт был один: предложение. Официальное предложение! Единственный факт, но громадный.

Что могло руководить человеком, делающим предложение?

«Деньги? Его богатство и положение в обществе далеко выше нашего. Дружба? Общность вкусов и интересов? Но он ничего не знает обо мне. Что ещё? Для чего ещё женится человек? Красота? Но так ли я красива?»

Она подошла к зеркалу, строго, беспристрастно разглядывая себя. «Да, молода, стройна, приятна на вид; в общем, довольно красива. Но ведь есть девушки куда красивей. Он был в Петербурге, в Москве, в Париже. Да и здесь – могу ли я сравниться с Сашей Линдер? Правда, она замужем, но он мог бы просто влюбиться и тогда не искал бы невест». Значит, и не в красоте дело. И оставалось одно, одна чудесная, восхитительная, разумом не объяснимая причина: любовь. Он любит – и потому делает предложение. Он любит и потому хочет жениться. «И хотя я не самая богатая, не самая знатная, не самая красивая – он женится на мне, потому что любит. Ему всё равно, сколько у меня денег, какой у меня характер, ему всё это безразлично!»

Да, любовь разгоняла сомнения, отвечая на все вопросы. В любви нет объяснений причин – почему? Он полюбил, и любит, и женится!

И Милу охватила большая, тёплая радость.

«Раз навсегда: нет больше сомнений! О, я ничтожная! – уже начинаю подозревать... сама омрачаю своё счастье. Стыд мне и позор! И довольно».

Она снова взяла букет и любовалась им. Она смотрела на него иными глазами, и букет послушно изменился. Хрупкие цветы говорили ей о нежности. Почти неземные, они казались ей чище, небесней – потусторонние, как серебряная аспидистра.

«Зимою! О, маленькие личики ангелов! И сердце ему уже подсказало, что это – мои любимые цветы!»

В комнату вошла Глаша с хрустальной вазой для букета и с толстой, растрёпанной книгой под мышкой.

– Барышня, тут в книге есть значение.

– Значение? Чего?

– Цветов. – И перевернув несколько страниц в книге, водя пальцем по строкам, она прочитала: – «Ландыши – ваша скромность и нежность пленили меня навсегда!» Вот! – воскликнула Глаша, торжествуя. – Ну в самый же раз!

Мила смутилась и засмеялась.

– Вздор, Глаша!

– Как, барышня, «вздор», если это напечатано! Того не может быть.

– Георгий Александрович вовсе не стал бы думать о каком-то там значении, покупая цветы.

– Да, барышня, за букет ваш жених платил дорого. Значит, и покупал подумавши.

– Что это у тебя за книга? – спросила Мила, желая переменить тему. Сегодня все её разговоры с горничной переходили в фамильярность. Это было и необычно, и несколько неприятно.

– Вот! – показала Глаша торжественно. – Читайте заголовок: «Наставник девичий». Ох же и интересная книга! Её тут у вас давно купили в складчину горничные ваши, лет тридцать, думаю, тому назад. Как в складчину, то ни одна не уступила другим, так и осталась книга при доме, передаётся молодым горничным. Нынче таких книг больше не печатают, а ведь сколько же тут полезного! Вот, скажем, вы невеста, – когда свадьба? Тут же все дни указаны, возможные дни и невозможные. Вот сейчас – так сразу можно венчаться. А отложите – считайте: Масленица, семь недель поста да неделя Пасхальная – все подряд невозможные. И о дне тоже сказано: не под праздник, не под постный день...

– Глаша, – сказала вдруг порывисто Мила, – я плакала сегодня.

– Ну а как же! – вовсе не удивилась Глаша. – Это от скромности. Уж очень надо быть откровенной, чтоб не плакать, как сватают. У нас в деревне полагается засватанной девке плакать – причитать голосом, чтоб соседи слышали. А вечером подружки забегут, ну, тогда голосят дружно, хором. По старине, заплакать положено при самом первом слове, как скажут: «сватают», – и плакать, грустить не меньше как три дня, а то засмеёт деревня. «Машутке не жутко», – скажут. Стыд какой!

– Но если невеста любит жениха и рада...

– Шш... шш... – зашипела Глаша. – Боже сохрани! Про любовь и слова допускать нельзя. Где же тогда скромность? От невесты один ответ: «На то воля родителей». Не сказал чтоб потом жених: «Сама-то с любовью своей на шею мне вешалась».

Вдруг в комнате зашелестела бумага: Полина стояла на пороге, высоко подняв полную выкройку платья из бумаги – в натуральную величину.

– Ох, шикарное же будет платье! – всплеснула руками Глаша, глядя на бумагу.

– Пожалуйста, побеседуем об отделке.

Но Миле вдруг стало всё это тяжело. «Какая карусель! Как вульгарно! Что они как призраки около меня, то появляются, то исчезают!» Вслух она промолвила сухо:

– Глаша, вы свободны.

И Полине:

– Вы поговорите об этом с мамой.

Оставшись одна: «Боже, какой невероятный день! – думала Мила. – Не схожу ли я с ума? Что в нём призрачно, что верно – в этом дне? Я – невеста! и это верно! Остальное – пусть! не хочу думать! Я – невеста, и счастье моё только лишь начинается».

Воспитанная на классической поэзии, она ожидала чудес от любви. Она мечтала быть любимой по Пушкину, по Тютчеву, по Лермонтову. И то, что жених ей сегодня сказал всего две фразы: «Доброе утро, Людмила Петровна» и «Благодарю вас, Людмила Петровна», не походило совсем на роман. «Но он целовал мои руки, – защищала «чудесное» Мила. – Он целовал их. В первый раз, когда он здоровался со мною – «Доброе утро, Людмила Петровна», – целовать мои руки было не в обычае. Это он так поступил от себя! И это только начало, самое-самое начало. И я скоро опять его увижу, моего жениха. Сегодня же вечером».

Но и вечер был не тем, каким рисовала его себе, волнуясь, Мила. Он прошёл в серьёзных разговорах – Жоржа с родителями Милы, а к ней все трое обращались ласково, но редко. Возникла первая серьёзная забота. Оповещённая о намерении сына жениться, его мать – ответной телеграммой – просила невесту приехать к ней поскорей, немедленно. По состоянию её здоровья визита нельзя было откладывать. Жорж просил Головиных отпустить Милу к его матери в Петербург теперь же. Но ехать она могла, конечно, лишь как официальная невеста, следовательно, необходимо было поспешить с объявлением помолвки. Назначили – с общего согласия – на 31 декабря, чтобы объявить на торжественной встрече Нового года в полковом собрании. В самой вежливой форме, но настойчиво, Жорж просил разрешения послать матери телеграмму уже с указанием дня приезда Милы. Он просил по возможности ускорить этот день, а затем и самый день свадьбы. Его настойчивость понималась Милой как доказательство любви, и сердце её замирало от счастья.

Возник вопрос, с кем поедет Мила. И так говорилось о помолвке, о поездке, о свадьбе, но не о любви. Затем Жорж поднялся – он в эту ночь был дежурным по полку, – поцеловал обе руки Милы, сказав «Благодарю вас, Людмила Петровна!» – и ушёл.

Казалось, ни мать, ни отец не замечали такого необычайного, по понятиям Милы, поведения жениха. Оба были взволнованы главным образом поездкой Милы.

– Успеет ли мы приодеть Милу? – волновалась мать. – Полина у нас? Позовите её!

И в комнату, как на роликах, бесшумно вплыла Полина, клятвенно обещая, что «душу свою положит», но будет готово платье к Новому году и всё остальное – к отъезду.

Мила была почти больна.

– Мама, мама, – плакала она, – я волнуюсь. Разве так бывает? Прошёл первый день, а он не сказал мне, что любит меня.

– Ну уж в любви его можешь не сомневаться! Чего ради стал бы он делать тебе предложение? Невест в мире сколько угодно. И затем эта его поспешность...

– Но мама, он невесел. Он даже скорее печален.

– Ну а если б твоя мать умирала?

– О мама!

– Вот видишь! Научись понимать. Не требуй ничего для себя. С матерью он расстанется, с тобой будет навсегда. И успокойся: разные бывают характеры и разные обычаи. В столице не принята провинциальная сентиментальность, там это смешно. Он из аристократической семьи, из военной школы, он сдержан. Посмотри на папу: как он сердечен дома и с друзьями – и как сдержан в обществе. Поженитесь – и он будет с тобой ласков и весел, как наш папа.

– Последнее слово: он любит меня?

– Мила, ты слышала: помолвку поскорее, свадьбу поскорее... Разве это не самая верная манера сказать: я люблю её.

Мила повеселела и, всё ещё всхлипывая, сказала:

– Знаешь, мама, я ещё никогда так много не плакала, как в этот, самый счастливый мой день.

– Хочешь быть хорошей женою, так научись не плакать, – сказала мать, целуя её и благословляя на ночь. – Завтра встанем пораньше и пойдём в церковь.

Глава V

Ничто не выходило так, как о том мечтала Мила.

Оставалось три дня до новогоднего бала и объявления о помолвке, и они – все три – прошли в хлопотах, в волнении и в разговорах, не имевших того значения, которого она искала. Она обессилена была примерками платьев и с горечью думала, что проводит дни не в объятиях жениха, а в объятиях портнихи. Затем были телеграммы от матери Мальцева, самые сердечные, – и родители много говорили о них и радовались. Шли Святки, всюду праздновали, и Жорж был занят: то приём у командира полка, где он должен быть, то спектакль у его солдат, где он не мог не быть, то ещё что-нибудь официальное и обязательное, и отец уверял Милу, что это именно так, даже упрекал её немного:

– Учись быть женой офицера, дорогая! Офицер не жене принадлежит – родине! Что ты скажешь, когда муж пойдёт на войну? Скажешь: не ходи! не пушу! – И он смеялся, ласково похлопывая дочь по плечу.

Мать твердила:

– Мила, просто неловко тебя слушать и видеть в таком волнении. Подожди до официальной помолвки. Ты сможешь выезжать с ним, вместо меня. Эти милые телеграммы от его матери! Всё идёт отлично. Георгий Александрович бывает у нас ежедневно. Перед тобою вся жизнь с ним.

Но Миле всё казалось, что события движутся медленно, что есть где-то какое-то «нечто» – и оно мешает её счастью, и она одна это чувствует. И все свои надежды и планы она перенесла на новогодний бал. Час объявления помолвки будет поворотным пунктом в истории её любви.

– Надеюсь, ты не заплачешь, – шутила мать.

И дома кое-что было неприятно. После откровенных разговоров с Глашей Мила как-то не могла восстановить прежнего с нею тона, и горничная всё прибегала, ахала, шептала, в общем, держалась наедине с Милой несколько фамильярно, словно они были «из одной деревни». Намёков Глаша не понимала, а резко оборвать её Мила не решалась, было как-то стыдно. Другою, и более сложною, неприятностью было новое отношение к Полине. Без всякой видимой причины Мила начала чувствовать глухое отвращение к портнихе, брезгливость к её прикосновению, а та всё мерила и мерила ей платья. Желая скрыть это, упрекая себя, Мила старалась быть беспристрастной и делалась преувеличенно любезной. А Полина хваталась за эту любезность и делалась более разговорчивой, чем обыкновенно. Эти новые и неприятные «мелкие чувства» наседали на Милу, как мухи, и она досадовала на себя и сердилась. «В такие дни – и ч т о меня отвлекает!»

Накануне бала, помогая одеться, Полина сообщила Миле, что приехала ненадолго Варвара Бублик и остановилась у ней на квартире.

– Варя здесь? О, как хорошо! Скажите ей, чтоб скорее, скорее пришла ко мне. Так хочу её видеть.

Готовая к балу, Мила стояла внизу, в круглой гостиной. Комната благоухала, полная цветов, посланных ей утром с карточкой Жоржа. Это были гиацинты нежных, пастельных оттенков. Их расставили бордюром по стенам комнаты, а Мила, стоя посреди, чувствовала себя как бы в объятиях жениха. Она решила: «Сегодня я спрошу: «Вы правда любите меня? Как долго? Как крепко?» И пусть он ответит мне, пусть скажет. Я не хочу только догадываться о его любви, я хочу знать. Я хочу слышать. Он скажет – и я буду счастлива. Как говорят женихи? «Люблю вас больше жизни». «Люблю вас больше чести». – Но тут Мила задумалась: «больше чести»? У Головиных было высокое понятие о чести. – Ну и не надо – «больше чести», это тут ни при чём, это из другой области».

Воображение отказывалось нарисовать ей, как Георгий Александрович будет говорить о любви. Это казалось ей несбыточным, невозможным.

«Но мне нужны слова, именно его с л о в а. Пусть скажет: «Мила, люблю вас безумно и на всю жизнь». И ей самой делалось несколько даже смешно представить его говорящим это: не походило на него, принимало комический характер.

«Всё равно, сегодня это б у д е т! Я выясню. Я клятвенно обещаю это себе. Я потом ему скажу – почему: меня это мучит, это омрачает счастье. Я вот н а э т о м м е с т е д а ю с е б е с л о в о. И когда я вернусь с бала – и это будет, как сейчас мне кажется, – через столетие, через целую вечность! Я о б е щ а ю себе стать вот здесь же, на это самое место и сравнить, как я чувствую себя сейчас и как будет «после». Я буду стоять здесь счастливая, уже без сомнений и без волнений».

Хотя офицерское собрание находилось близко, Головины поехали на тройке. Кучер был отпущен на праздник, и его заменял конюший – Егор.

Этот Егор был недавним и странным обитателем «Услады». Крестьянин из деревни, он ни манерой, ни характером не подходил к тому, что считалось хорошим слугою в полку или в городе. Взятый в солдаты, старовер Егор то и дело попадался в провинностях, и это были провинности лишь с точки зрения солдатской этики и дисциплины, но не являлись таковыми в оценке старообрядца. Егор запутывался всё больше, и его наказывали всё чаще, и хоть в человеке этом не было ничего злого, должны были наказывать, того требовала дисциплина, не делавшая исключений. Наконец дело о нём дошло до генерала, и Головин сам занялся проблемой Егора. Егор произвёл на него впечатление человека узкого, но бесстрашно правдивого, непоколебимого в своём кодексе нравственности и каменной веры. Генерал, чтоб избавить Егора от строя, отписал его в свою личную службу, как кучера: Егор прекрасно знал лошадей и любовно ухаживал за ними. Он прижился в «Усладе». По распоряжению генерала остальные слуги оставили Егора в покое, он жил на конюшне, старательно трудясь весь день и молясь по ночам. Людей он скорее чуждался, ибо «мир во зле лежит», видался только с двумя-тремя солдатами-земляками, тоже староверами и из той же далёкой лесной деревни. Писание он знал наизусть и говорил цитатами из него, как бы не имея своего мнения или не умея его выразить самостоятельно.

Головины, любители лошадей, часто бывая на конюшне, вступали в беседы с Егором, а потом рассказывали об этом, и в тех немногих словах Егора всегда было нечто, чего не сказал бы никто другой.

Сегодня он был кучером. Все остальные слуги стремились быть свободными на этот вечер, и Егор старался заменять всех, кого только возможно. Год этот «новый» был гражданским. Там, в его деревне, праздновали настоящий «Божий» Новый год, и падал он на первое сентября, ибо в тот день вечером, в пять часов, Саваоф начал сотворение мира. О мире Егор знал мало и больше знать не стремился, скорее избегал новых познаний. В его вселенной человек был центром мироздания, а жизнь человека – борьба за спасение души на вечную жизнь. Его единственным владыкою был Господь Бог. Он создал солнце, чтоб светить человеку, облака и дождь, чтоб орошать его нивы. Ночные небесные светила помещены в небесном своде, чтоб освещать путь пастуху и страннику. Растения созданы для укрытия и пищи. «Ешь траву, в траву одевайся, на траве спи». Люди созданы для любви и взаимной помощи в деле коллективного спасения и затем возвращения в «лоно Отчее». В деревне они называли всех: отец, брат, сестра. Попад в город Вавилон – («ныне всякий город Вавилон»), Егор ужаснулся обилию зла, извращениям человеческой природы («ныне человек живёт развратно и распутно»). Курение пугало его: дым, выходящий изо рта, уже свидетельствовал о присутствии «внутреннего ада и смрадного огня». Но веры Егор не потерял, наоборот, она возрастала при виде торжествующего зла. Богохульство свидетельствовало уже о скором конце мира. Единственное, что было нужно человеку «в последние времена», – это сохранять веру и в чистоте сердца готовиться

к концу. Он жил «у порога» в вечность, и за этот порог обращены были его мысли и взоры. «Града пребывающая не имам», да и не нужен этот град, ибо всё уже обречено на горькую погибель, всё, кроме человека, кто живёт по Божьему слову.

Этот Егор и вёз Головиных на новогодний бал. Здание офицерского собрания было иллюминировано. Издали на тёмном фоне его контур был нарисован лёгкой огненной линией. Подъезжали гости. Смех, радостные и возбуждённые голоса звенели в воздухе. Дрожа от волнения, Мила вошла в собрание.

Георгий Александрович ожидал её внизу с букетом. Он сказал, что счастлив её видеть. От его слов всё засветилось, волшебным сияло для Милы. Она не вошла, она впрорхнула в зал.

Все Головины всегда танцевали прекрасно. Пара Мила и Мальцев притягивала восхищённые взоры. Пожилые, уже не танцевавшие дамы вскоре заметили, что поручик Мальцев танцевал только с Милой, делая исключение лишь для тех, кому обязан был, так сказать, «служебным» вниманием, по должности. Кое-кто видел и букет, и не один пронизывающий взгляд был брошен на эту пару.

В оживлении зала, в движении танца невозможно было, конечно, вести тот разговор, о котором мечтала Мила, спросить: вы любите меня? как крепко? как долго? – но теперь Мила уже радостно отдаляла этот момент. Георгий Александрович был всем, чем должен быть влюблённый жених во время бала: ни к чему совершенно нельзя было придраться, и Мила теперь удивлялась своим прежним мыслям и подозрениям.

Близилась полночь. Все были приглашены к столу. Мила, посаженная рядом с Жоржем, неподалёку от председательского места полкового командира, теперь обращала на себя не только дамские, но и мужские взгляды: кое-кто начинал предполагать и догадываться.

Столы блестели серебром и хрусталём. Сияли огни. Благоухали цветы. Звучал смех. Играла музыка. Вечер проходил на редкость оживлённо и радостно. И кое-кто отмечал, что ни один прежний год не был встречен так счастливо, как этот! Увы! роковой для многих, для многих уже последний – 1914 год.

Оставалось десять минут до полуночи. Подавали десерт и шампанское. Командир полка встал для традиционной приветственной речи. Речь, по обычаю, была краткой, состояла из поздравлений и пожеланий. Но сегодня он добавил, что Новый год начинается прекрасно. И он огласил помолвку Жоржа и Милы.

Новость эта была так неожиданна, что на минуту воцарилось глубокое молчание. Тишина эта в середине такого многошумного вечера словно остриём пронзила праздник. И в этот странный момент тишины раздался тонкий звук разбитого хрусталя: Саша Линдер уронила бокал, он разбился, и вино разлилось по скатерти и полу.

Но уже поднялись первые голоса шумных поздравлений, восклицаний, звон часов, гром музыки и пожелания счастья в новом году. В общем радостном возбуждении, казалось, забылось и неловкое удивлённое молчание гостей в ответ на объявление помолвки, и инцидент с бокалом Саши. Они не забылись, конечно. Они были отложены, чтоб затем, на свободе, завтра, хорошенько обдумать всё и расценить. Саше на подносе принесли новый бокал, но он был иной формы, чем у всех остальных, – и это выделяло её от всех гостей. Взглянув на бокал, каждая дама взглядом своим говорила: она! Саша! от такой дамы – и такая неловкость!

Но Саша Линдер ничем не проявляла какого-либо душевного волнения, растерянности, беспокойства. Сидя около своего безобразного мужа, она спокойно сияла красотой. Между тем дамы бросали теперь любопытные взоры – мимо Милы – на Сашу и Жоржа. От них всегда ожидали романа, лишь потому, что оба были бесспорно первыми по красоте. И то, что внешне никакого романа заметно не было, только усиливало подозрения. Как? Ничего? Он – адъютант её мужа – и ничего? Он – по должности – бывал в её доме чаще, чем у других, он видел её чаще, чем других дам, – и ничего? И вот он женится – неожиданно, не поухаживав, хотя бы

для вида, за невестой. А Саша и не знала, очевидно, об этом. Ей говорят: «обручён!» – и она роняет бокал. Такая неловкость – и от такой дамы!

Но всё это было пока только в умах. Внешне – как и всегда в полку: манеры были корректны и приветливо-дружелюбны. Существовала, конечно, интрига, существовала и сплетня – но осторожная, искусная, хорошо замаскированная, плелась она лишь в кругу верных друзей, в полутёмной гостиной. А затем выносилась в свет в якобы весёлой, незлобивой болтовне, с каплей яда, хорошо скрытой внутри.

Но и пауза, следовавшая за объявлением помолвки, – непредумышленная и тем более красноречивая – была, конечно, замечена всеми. Родители Головины были ею задеты, но понимали её как реакцию на неожиданность и задавали себе вопрос: разумно ли было уступить настойчивой поспешности жениха? Но они знали, что истинная причина – болезнь матери Жоржа – будет известна всем завтра же, и это успокаивало их.

Полная счастья, Мила была единственным человеком в зале, не заметившим ничего. Поручик Мальцев, хотя и не выказывая этого ничем, был очень задет. Он знал, что никто в полку не признавал его совершенно «своим». Но сам он по отношению ко всем был безукоризненно корректен и такой же корректности требовал к себе. Он чувствовал себя оскорблённым и за Милу, и в нём встало желание защищать её, ограждать и беречь. Это было первым тёплым движением его сердца к ней.

Бал продолжался шумно и весело.

Все, и особенно товарищи Жоржа, старались усиленным вниманием загладить прошлую неловкость. Единственной дамой, которая оставалась сама собою, как всегда, была Саша Линдер. Она поздравила жениха и невесту совершенно так же, как поздравила бы всякую другую пару.

Как была счастлива Мила! По временам она сжимала руку до боли в пальцах и говорила себе: «Вот и я счастлива! Я счастлива! Я счастлива!»

Лился свет, лилась музыка. Мила кружилась в вальсе в объятиях Жоржа, и он говорил ей: – Вы необыкновенно прекрасны сегодня.

Новогодние балы обычно длились до рассвета. Головины боялись, чтобы Мила не утомилась, – ей вскоре предстояла поездка в Петербург. Ещё до бала решено было, что она отправится домой в два часа и Жорж проводит её.

Это возвращение домой наедине с женихом было тем моментом, который Мила назначила для разговора о любви.

Накинув свою лёгкую соболью шубку, подвязав ленты капора бантом под подбородком, она легко сбегала вниз по ступенькам, счастливая, видя, что Жорж уже стоит у выхода, ожидая её. Он смотрел на неё, пока она бежала вниз по ступенькам, смотрел, не спуская глаз, и никогда в жизни – потом – она не забыла ни этого взгляда, ни этих ступеней.

Они вышли вместе.

После движения, шума и света их встретила безмолвная зимняя ночь. Звёзды, планеты, созвездия сияли им сверху. Мельчайшие снежинки, как светящаяся межпланетная пыль, кружась, сияли у фонарей, словно осыпаясь с небесных светил. И вечная загадочность, непостижимая тайна надземного мира на миг испугали Милу. Ей хотелось укрыться от этого величия в земной уют, в те маленькие санки Жоржа, что ожидали где-то поблизости. Она почти побежала к воротам, слыша шаги жениха за собою. Он догнал её. «Куда вы, Мила? Так спешите домой?» Он крепко держал её под руку. «Сейчас спрошу», – сказала себе Мила – и быстро к нему обернулась. Она отдернула свою руку, став напротив, чтобы лучше видеть его лицо. Лунный свет словно пронзил её и поднял над землёю. В его ореоле и она сияла вечным и тихим, загадочным светом. «Одеяй светом яко ризою», – подумал он. Это был странный феномен зрения, и Жорж остановился на миг, удивляясь сиянию всех контуров образа Милы. Она протянула к нему руки.

– Вы любите меня? – спросила она громким шёпотом. – Сейчас скажите! Любите? Давно? Долго?

Его лицо медленно расплывалось в ему несвойственную, нежную улыбку: так глядят на очень маленьких, ещё невинных, безгрешных детей. Он взял её протянутые руки в пушистых белых рукавчиках и, поцеловав, тоже шёпотом ответил:

– Я люблю вас. Как долго? Совсем недавно – сейчас.

– Спасибо, – сказала Мила тем же шёпотом.

И оба они тихо засмеялись.

– Но сильно?

– На это трудно ответить. Способность любить не у всех одинакова. Я люблю, сколько могу...

Он говорил, и она смеялась от счастья. В его глазах она сияла всё больше, как будто тая, соединяясь со светом вокруг.

– Георгий Александрович! – воскликнула она. Ей хотелось сейчас же что-то сказать, обещать, как-то запечатлеть своё необычайное счастье, бросить вызов всем превратностям жизни, самой судьбе. – Из всего, что теперь ещё может случиться с нами или отдельно со мною и вами, я боюсь теперь одного: пусть наша любовь – никогда, никогда! – не превратится в привычку, в бесцветную супружескую жизнь. Пусть это будет единственной и необыкновенной историей любви! Она так чудесна! Пусть случаются беды, несчастья – а она пусть всё растёт и всё сияет. Да?

И – как внезапный ответ на её вызов – за забором поднялся шум, возмущённые голоса, грубая солдатская ругань. Хлопнула калитка, и вбежавший солдат кинулся к Жоржу, захлёбываясь от волнения:

– Ваше благородие! Тут скверная история случилась! Мёртвое тело! – Он громко стучал зубами и от возбуждения и от холода.

Гул голосов за забором всё разрастался.

– Мила, бегите обратно, к родителям. Я должен сейчас же заняться этим.

И с солдатом он быстро ушёл со двора. Мила побежала обратно в собрание.

Поручик Мальцев, таким образом, оказался первым на месте несчастья. Около щегольских саней полковника Линдера стояла группа солдат-кучеров, кто, при лошадях, ожидал господ. Они ругались громко, жестикулируя. Увидя поручика, все расступились. В санях, скорченный, лежал мёртвый, замёрзший кучер полковника Линдера.

Согласно военным правилам, кучер-солдат не имеет права без позволения оставить лошадей и экипаж офицера. За очень небольшими исключениями, офицеры заботливо относились к своим слугам, считалось очень дурным тоном «тиранствовать». И в эту новогоднюю ночь, по обычаю, отдано было приказание, чтоб кучера, соблюдая очередь, шли «греться» в подвальное помещение, где им давалось «умеренное» угощение, чтоб они «подбадривались», но не напивались. Но полковник Линдер был человек особого порядка: преклоняясь перед дисциплиной, безжалостный, жестокий по природе, он в жертву ей приносил человека. Тип известный: немец, делающий в России военную карьеру.

Имея наилучших в полку лошадей, он непомерно ими гордился, будто это была его личная заслуга, он сам их выдумал. Его пара серых в яблоках, как близнецы – пятно в пятно, являлась его особенной гордостью и заботой. И его кучер имел от него строжайший приказ – раз навсегда – никогда и ни под каким видом не оставлять лошадей на попечение других кучеров (бывали случаи, что лошадей «портили» в видах мести владельцу). В тот день, в канун Нового года, и сам Линдер и Саша много ездили по магазинам и визитам. Лошадей и экипаж меняли, но кучер был всё тот же. Как выяснилось потом, кучер не пил, не ел, не переодевался и не согревался с самого утра. А уезжая на бал, полковник Линдер приказал подать серых в яблоках, и, дожидаясь у здания, кучер не мог их оставлять. Запрягая, перепрягая, носясь по

городу то с господами, то с поручениями – и всё это в страхе, – кучер не имел минуты поесть, отдохнуть, согреться и переодеться – и вот тут он был: при лошадях, мёртвый.

Придя первым на место несчастья, поручик Мальцев должен был немедленно заняться происшествием. Тело внесли в подвальное помещение, послали за военным доктором, танцевавшим мазурку на балу, за командиром полка и полковником Линдером. О событии, таким образом, узнали и все слуги, и все гости в верхних залах. Все были возмущены, негодовали, но про себя, не вслух: критиковать кого-либо из офицеров открыто, в обществе, в присутствии слуг не полагалось. Комментарии были отложены до завтра – и бал продолжался. Но на веселье была брошена тень. Музыка звучала иначе. Гости незаметно стали исчезать, особенно пожилые. Молодёжь оставалась; приказано было танцевать до утра, чтобы не преувеличить важности события и чтобы не сорван был бал.

Первыми уехали Головины, увозя с собою Милу.

Она возвращалась домой с родителями, не с женихом. Ещё один план её рухнул. Ещё одна уверенность обманула её.

Они ехали молча. Луна поднялась выше и всё бледнела к утру. Гривы лошадей поблёскивали инеем. Мила чувствовала, как слёзы катились из её глаз, подмерзая на щеках. Она смахивала их рукавичкой. Ей казалось, что какая-то тень от этой смерти брошена на неё самое и на всё её счастье. Родители молчали. Кучер Егор что-то невнятно бормотал. Они почему-то ехали медленно, и печаль сменила всё то радостное возбуждение, с каким Мила ехала на бал в этот вечер.

Также молча все трое вошли в дом. Подымаясь по ступеням, Мила подумала, что никогда ещё она не возвращалась домой с такою смущённой душою и беспокойным сердцем. Она остановилась в круглой гостиной, на том самом месте, где обещала самой себе рассказать, что и как было и насколько она наконец уверилась в своём счастье. Всё было не то и не так, как она ожидала. «Что ж, возможно, в жизни того счастья нет, какое мы себе воображаем. Есть, но что-то другое...»

Не рассеялись её предчувствия, беспокойство, волнение – они приняли иную форму. Какие-то внешние силы, казалось, вмешивались в её личную жизнь, не допуская ничем владеть, ничем насладиться как неотъемлемо своим. Что это? Её судьба? Она хочет быть с Жоржем, но должна начать с разлуки – уехать. Они начали наконец говорить о любви, но он должен уйти, потому что рядом – несчастье.

До сих пор она знала только мирное, безмятежное течение жизни в «Усладе». О страшных грозах истории, о неотвратимости личных трагедий в трагедиях общих она не знала ничего. Всё, что мешало счастью, она называла «судьбой», непонятной и страшной. И вот «судьба» впервые коснулась её своей невидимой, но властной рукой.

Она стояла посреди круглой гостиной, не замечая нежного аромата гиацинтов. Она прислушивалась к своему сердцу: казалось, сердце пыталось подсказать ей что-то, а она не понимала его голоса. Ей смутно казалось, что и она виновата в чём-то, что и её касалась смерть того солдата, что виновата она не личной виной, но как-то косвенно, просто тем, что живёт на той же земле, где жил и он.

«Как странно! Как странно! – думала она, сжимая руки. – Случается совсем неожиданное, и никак не то, чего ожидаешь, на что надеешься, на что, кажется, имеешь право».

Мысль, что её жизнь переплетена с жизнью других в сложный узор, которого она не видит, который ей был непонятен, впервые пришла ей в голову и испугала её.

«Я лишилась этого счастья – поездки с Жоржем, я имела на это такие надежды, я имела на него полное право – но я лишилась его, и этот час исчез навсегда. И ничто не сможет мне вернуть его. И те слова, что Жорж успел сказать мне, уже затуманены, затоплены беспокойством, жалостью к тому солдату и страхом за себя. Возможно ли, что вообще нет, не существует того светлого, безоблачного счастья, которого я ожидаю? Но он сказал, что любит меня, и пусть

остальное всё мне только кажется! – утешала она себя. Но и эти слова его теперь мерцали каким-то неуверенным лунным светом на фоне большой печали. – И он любит, и я люблю – а что выходит! Болеет его мать, замёрз кучер Линдеров, мне нужно новое платье, он дежурный по полку, я еду в Петербург, он остаётся здесь – и мы не принадлежим ни нашему счастью, ни один другому».

Она медленно поднялась в свою комнату. Свет лампы наполнял комнату мягким, светящимся голубым туманом.

– Как странно! Как странно! – шептала она, раздеваясь. – Я уверена была: мы поедем, он меня поцелует. Но умер солдат – и нет поцелуев!

Тёмная жизнь, неизвестная ей, бурлила за «Усадой» – и вот врывалась к ней со своими катастрофами. И она – Мила – оказывается, не защищена от неё ничем.

«Как странно! Но с кем обсудить это?» И вдруг она вспомнила, что приехала Варвара Бублик.

«С ней! Именно с ней! Она одна всегда была занята мыслями вроде этих моих вопросов. Она меня успокоит. Она объяснит всё толково, как задачу по геометрии. Я только с ней и понимала задачи. А сейчас буду думать о Жорже. Он сказал, что любит. И это – счастье. И это всё, всё! И довольно! Завтра пошлю лошадей за Варварой. Варвара моя, Варенька, пчёлка, мурашка! Ползи сюда! Ты объясняла мне алгебру, объясни теперь задачи жизни!»

В этот же час Варвара сидела в своём углу в доме Полины. Член коммунистической партии, она приехала в город с некоторым «заданием». Керосиновая лампа под маленьким зелёным абажуром – лампа труженика – лила свой скудный свет на страницы «Капитала» Маркса. Варвара читала медленно, с глубочайшим волнением, казалось, почти не дыша. Комната её была безлична, опустошена от всего, что обнаруживает намёк на желание комфорта. Комната была беднее даже, чем келья монахини: в ней не было ни иконы, ни распятия.

Ни один звук не нарушал тишины, лишь – по временам – шелест перевёрнутой страницы. Странно было видеть такое молодое существо таким неподвижным, почти не подающим внешних признаков жизни.

Заканчивая назначенную себе главу, Варвара встала бесшумно и бережно закрыла книгу. Затем, также бесшумно, она подошла к стенному календарю. Оторвав аккуратно верхний лист, она долго, безмолвно смотрела: 1 января. Год 1914.

Затем – из экономии – она погасила лампу под зелёным абажуром и постояла у окна. Эти странные окна дома Полины были так высоки, что Варвара стояла опершись подбородком на подоконник, и хотя видела небо, звёзды, луну, думала она не о них. Она мысленно пересказывала себе главу, только что прочитанную в «Капитале».

И хотя всё вне дома сияло луною, в комнате Варвары было темно.

Глава VI

В эту новогоднюю ночь – по головинской традиции – их слуги, пригласив друзей, пировали в подвальном помещении «Услады».

Длинный стол под белой скатертью был накрыт на тридцать приборов. Разноцветная и разнокалиберная посуда весело толпилась на столе, поблёскивая отражённым сиянием огромной висячей лампы, пущенной «на весь свет».

Знаменитая головинская кухарка («лучше всякого повара») наряжалась к празднику. Мавра Кондратьевна (никак не просто Мавра) высоко ставила и себя, и своё искусство. Выученица старого головинского повара, кто, в свою очередь, выучился тоже у старого головинского повара – из крепостных, одного из тех, кого русские бары посылали учиться в Париж, – Мавра имела свою традицию и свои принципы. У ней всё и всегда выходило «удачно», и эта постоянная, не изменявшая ей «удача» держала её в гордо-радостном духе. Сегодня она – по традиции – была хозяйкою пира. Угощение было почти готово, только ещё гусь – гигант по размерам – нетерпеливо шипел в духовке. Окорок бараний и окорок свиной были уже на столе. Индейка «отдыхала» на блюде. Для украшения её лапок денщик резал папиросную цветную бумагу, собирая её в кисточки. Лакей, любуясь на тёплую румяную индейку, произнёс: «Венера!» Он побывал когда-то со своим господином в Италии и при случае любил поразить кухню иностранным эффектом.

Услыхав, Мавра Кондратьевна приказала ему «не выражаться»: тут святой вечер и православный народ. Её авторитет стоял высоко среди прислуги: «за повара» – в таком-то доме! Лакей не осмелился возразить.

Жизнью своею, «почти что княжеской», Мавра Кондратьевна была довольна, не мечтала о лучшем, уверенная, что лучше и не бывает. Готовясь к роли хозяйки – сидеть на первом месте, под образами, она принаряживалась в комнате, примыкавшей к огромнейшей кухне.

Но пока она помадила свои жиденькие зеленовато-жёлтые волосы, укрепляя узелок большими, как вилы, парадными шпильками, «сердце её было не с нею», оно было в духовке, где «доходил» традиционный рождественский гусь. Оттуда, словно призывая её, доносилось шипение: гусь давал знать о себе. Наспех посмотрела Мавра в круглое ручное зеркальце, с туманностями и щербинками. Зеркальце было мало, и видеть она могла лишь центральную часть своего обширного лица. Но и тем, что она увидела, Мавра осталась очень довольна. Она никогда не употребляла пудры, не говоря уже о таких изощрениях, как румяна. Её же собственное лицо, не то от плиты, не то от природы, было медно-красное, совершенно в тон её кухонной эмалированной утвари. Оно и блестело, как эмаль её красных кастрюль. В зеркало Мавра смотрелась редко: по двенадцатым праздникам и под Новый год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.